

## ИНСТАНЦИЯ БУКВЫ В БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ ИЛИ СУДЬБА РАЗУМА ПОСЛЕ ФРЕЙДА\*

Ж.ЛАКАН

### НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛАКАНЕ

Жак Мари Эмиль Лакан (1901-1981) – выдающийся французский психоаналитик и философ, создатель особого направления в психоанализе, которое часто называют структуралистским психоанализом (что несколько узко) или французским психоанализом (что несколько расширительно, поскольку далеко не все французские психоаналитики разделяют его взгляды). Пожалуй, точнее всего говорить о лакановской школе психоанализа, хотя и она после смерти мэтра раскололась на несколько конфликтующих между собой групп.

Если пик популярности Лакана у себя на родине приходится на время майских событий 1968г., состоявшихся через 2 года после публикации его знаменитых «Текстов» («Ecrits»), то интерес к его учению в других странах зарождается к концу 70-х, и, судя по количеству новых переводов и посвященных ему публикаций, не ослабевает по сей день.

Одной из причин такого интереса к учению Лакана является то, что оно адресовано не столько узкому профессиональному кругу психоаналитиков, сколько самому широкому кругу специалистов в области наук о человеке. Далеко не случайно, что лакановские семинары, проводившиеся им еженедельно с 1953г. до 1980г., всегда были крупными интеллектуальными событиями парижской жизни. Их посещали такие выдающиеся ученые, как антрополог К.Леви-Строс, философы П.Рикер, М.Мерло-Понти, Л.Альтюссер, Ж.Деррида, филологи Р.Якобсон, Р.Барт, Ю.Кристева и многие другие.

Психиатрическая подготовка Лакана завершилась в 1932г. защитой докторской диссертации «О паранойе и ее влиянии на личность». Однако это исследование вызвало интерес не столько у психиатров, сколько у сюрреалистов – в особенности у Сальвадора Дали, который как раз в это время разрабатывал свой «метод паранойяльной живописи». Интерес

---

\* Перевод выполнен по: *Jacques Lacan. Ecrits. Editions du Seuil, 1966, p.249-289.*

Лакана к психоанализу, к которому в те годы французские психиатры относились весьма недоверчиво, сблизил его с артистической элитой Парижа. Его близкими друзьями стали Дали, Баталь, Мальро, Пикассо, Барро и др. Общение с художественной элитой не слишком сильно повлияло на его теоретические взгляды, однако значительно сказалось на стиле изложения его идей. Большинство текстов Лакана чрезвычайно трудны для понимания. Отдельные места в его произведениях воспринимаются скорее как авангардная проза, чем как научный текст. В большинстве своих работ Лакан бесконечно играет словами, приводит массу скрытых цитат, аллюзий, максимально использует многозначность слов и выражений, изобретает свои неологизмы. (Например, человек в лакановском понимании есть *parletre*, что образуется из слов *parle* – говорить, *letter* – буква, *l'etre* – бытие. Таким образом, человек – это «говорящее через букву бытия». Ср. бахтинское понимание человека как «говорящего бытия».)

Другого рода трудности создает принципиальный отказ Лакана давать определения основным теоретическим понятиям. Их смысл всегда предельно контекстуален. Лакан, проводивший свои семинары с 1953г. до самой смерти, постоянно соотносил содержание каждого из них со всеми предыдущими. По сей день даже на французском языке издано менее половины текстов семинаров. Готовящееся в настоящее время полное собрание текстов семинаров составит 21-22 тома. К тому же подавляющая часть текстов Лакана представляют собой отредактированные стенограммы его устных выступлений, что не может не привести к большим смысловым потерям.

Лакан вступает в Парижское психоаналитическое общество в 1934г., а в 1936г. вместе с Д.Лагашем основывает более демократичную ассоциацию – Французское психоаналитическое общество. Несмотря на то, что в 30-40-е гг. Франция представляла собой провинциальную окраину международного психоаналитического движения, ряд молодых французских психоаналитиков, таких как С.Нашт, Д.Лагаш, Ж.Лакан, не проявляют признаков комплекса провинциальной неполноценности и развивают свои оригинальные подходы, не стараясь идти по пути признанных авторитетов своих американских и английских коллег. Одним из важнейших моментов в творческих поисках Ж.Лакана является его радикальное непринятие «американизированной» эго-психологии, основанной на концепции автономного «эго» и направленной на «усиление эго» и, в конечном счете, на успешную адаптацию к американскому образу жизни.

Не менее ошибочным путем, с точки зрения Лакана, пошли и многие так называемые «революционные неофрейдисты», которые искажали самую суть фрейдовских открытий. Отсюда – знаменитый лозунг Лакана: «Назад, к Фрейду!». В дидактическом отношении свою главную цель Лакан видел в том, чтобы научить психоаналитиков **читать** Фрейда (о себе он любил повторять: «Я – человек, который прочел Фрейда»), а в

теоретическом – вернуться к основной задаче Фрейда – построить научную теорию бессознательного.

Первым значительным шагом в программе «перепрочтения» Фрейда явилось развитие концепции «стадии зеркала», которую Лакан разрабатывал в 30-40-е гг. Главный вывод, вытекающий из концепции стадии зеркала, состоит в том, что «эго» отнюдь не является синонимом человеческого субъекта, не является центром системы восприятие-сознание, а характеризуется функцией «ложного знания», «иллюзорного понимания» (*meconnaissance*), является источником самоотчуждения, источником всех защит и сопротивлений. «Эго» лишь бесконечно стремится найти новое замещение утраченному объекту желания, скрытому в бессознательном.

В 50-е гг. Лакан приступает к реализации своей главной цели – построению научной теории бессознательного. И, конечно, он обращается в первую очередь к работам Фрейда.

Что же означает для Лакана «вернуться назад к Фрейду»? Это значит понять простую истину, которую повторял Фрейд: «При психоаналитическом лечении происходит только словесный обмен, разговор между анализируемым и врачом». Психоанализ – это, в первую очередь, *talking cure* – лечение разговором, по меткому определению знаменитой Анны О. Особое прочтение Фрейда убеждает Лакана, что лингвистическая модель лежит в основе всего фрейдовского учения, что каждая страница собрания его сочинений посвящена филологическим вопросам, «где анализ вопросов языка становится тем подробнее, чем ближе обсуждение касается бессознательного (*Ecrits*, p.159). Основываясь на работах Фрейда, Лакан показывает, что специфика психоанализа заключается в том, что «его средства – это речевые средства, поскольку речь придает смысл действиям индивида; его область – область конкретной речевой ситуации как трансиндивидуальной реальности субъекта, его приемы суть приемы исторической науки...» (*Ecrits*, p.117). По словам П.Рикера, «Далеко не все в человеке есть речь, но в психоанализе все речь и язык».

Безусловно, столь еретическое прочтение Лаканом Фрейда («Бессознательное структурировано как язык», «Симптом организуется структурой языка», «Бессознательное – это речь Другого») было возможно сквозь призму достижений современной структурной лингвистики (учения Фердинанда де Соссюра, работ Р.Якобсона и др.), а также структурной антропологии К.Леви-Строса.

В итоге, по Лакану бессознательное оказывается не вместилищем хаотических инстинктивных влечений, а «той частью конкретной речи в ее трансиндивидуальном качестве, которой не хватает субъекту, чтобы восстановить целостность (непрерывность) его сознательной речи» (*Ecrits*, p.49).

Наиболее полно эти идеи выражены в двух программных текстах Лакана: «Функция и поле речи и языка в психоанализе» (доклад на

Римском психоаналитическом конгрессе в 1951г.), а также «Инстанция буквы в бессознательном...», которую мы предлагаем вниманию наших читателей.

Радикальные теоретические расхождения Лакана с руководством IPA (Международной психоаналитической ассоциации), несоблюдение им жестких правил в отборе и подготовке психоаналитических кандидатов и, в особенности, практика «укороченных» сеансов – все это привело к исключению Ж.Лакана в 1963г. из IPA, а затем и из Французского психоаналитического общества. Отказавшись соблюдать жесткие правила IPA, в 1964г. Лакан основывает свою собственную организацию – «Фрейдовскую школу Парижа» – и до последних своих дней преподает в Парижском университете.

Конечно, Лакану не удалось переубедить большинство своих оппонентов, многие из которых отказались читать лакановскую «заумь». Несмотря на длительную изоляцию Лакана от международного психоаналитического движения, в последние годы все большее число психоаналитиков приходит к выводу, что там, «где мы раньше видели биологию – сегодня мы видим филологию, где мы раньше видели символическую расшифровку – сегодня мы видим фонетическую игру скольжения, где мы раньше видели разрядку фиксированной энергии – сегодня мы видим организованные определенными правилами трансформации личностного текста-сценария» (Forrester J. Language and the Origins of Psychoanalysis. N.Y., 1980, p.211).

Мы выбрали для публикации перевод «Инстанции буквы...» по следующим соображениям. Во-первых, в силу различных причин она написана языком более ясным и понятным, чем большинство других текстов Лакана. Во-вторых, в этой статье, пожалуй, с наибольшей силой выражена его центральная идея, что «бессознательное структурировано как язык».

*Предисловие В.Н.Цапкина*

## О СПЕЛЕНУТЫХ ДЕТЯХ

*О морские города! На стогнах ваших я вижу  
женщин и мужчин, чьи руки и ноги туго связаны  
прочными узами, связаны людьми, которые  
не поймут вашего языка, и лишь между собою  
сможете вы слезными жалобами, вздохами и  
стенаниями оплакивать ваши мучения и  
утраченную  
вами свободу. Ибо те, кто связал вас,  
не поймут вашего языка, как и вы не поймете их.  
(Записные книжки Леонардо да Винчи<sup>1</sup>)*

Если уж тема настоящего, третьего тома «Психоанализа»<sup>2</sup> потребовала от меня вклада в виде данной работы, то, воздавая должное тому, что читатель в ней обнаружит, я обязан предупредить, что ее настоящее место находится между письменной и устной речью – где-то на полдороге.

Письмо характеризуется, по сути дела, господством *текста* – в том смысле, который этот фактор дискурса, как мы увидим, здесь получит. Это приводит к стесненности, которая, на мой взгляд, не должна оставлять читателю иного выхода, кроме входа в этот текст, – а его я предпочитаю делать затруднительным. Следовательно, в данном случае перед нами вовсе не письмо. Особенность моих семинаров, состоящая в том, что каждый раз я сообщаю на них нечто неопубликованное, не позволила мне до сих пор дать образец такого текста – разве что одного из них, и притом случайно вырванного из их последовательности, так что обращаться к нему стоит здесь исключительно ради масштаба их топики.

Недостаток времени, послуживший мне предлогом отказаться от подобного замысла, маскирует другую, настоящую трудность: чтобы удержать данный текст на том уровне, на котором мое учение должно быть здесь представлено, он не должен заметно уклоняться от устной речи с ее совершенно иными масштабами, соблюдение которых существенно

---

<sup>1</sup> Codice Atlantico, 145.

<sup>2</sup> Psychanalyse et science de l'homme.

для достижения результатов, которых я добиваюсь как преподаватель.

Вот почему в поисках благосклонной оценки своего труда я, совершив обходной маневр, принял приглашение философского кружка Федерации студентов-словесников<sup>3</sup> выступить с докладом, рассчитывая, что широта его темы как нельзя лучше будет соответствовать необычному характеру этой аудитории, а единственный объект его встретит интерес, обусловленный ее общей квалификацией – литературной, которой воздается должное самим названием моего доклада, посвященного литере, букве.

Разве можно позабыть, что Фрейд постоянно, до последних дней своих, настаивал на первоочередной важности именно этой квалификации для формирования аналитиков, и что именно *universitas litterarum* виделась ему идеальным местом для задуманного им учреждения<sup>4</sup>.

Восстанавливая теперь по свежим следам ход своей речи и упоминая тех, кому я ее предназначаю, я тем более ясно даю понять, кого она не касается.

К этим последним относятся все те, кто, какие бы цели в психоанализе они не преследовали, примиряются с тем, что их дисциплина начинает ставить себе в заслугу ту или иную ложную идентификацию.

Это грех обычный, и его воздействие на умы таково, что даже правильная идентификация рискует показаться лишь одним из многих алиби, чья утонченная двусмысленность не укроется, мы надеемся, от умов более пронизательных.

Так, с любопытством наблюдаем мы крутой поворот в отношении к символизации и языку, намечающийся в *International Journal of Psychoanalysis*: так и видишь их влажные пальцы, листающие фолианты Сэпира и Есперсена. Упражнения такого рода им еще внове, но особенно их выдает тон. Есть серьезность, которая вызывает лишь улыбку, когда прибегает к правдоподобию.

И как вообще может современный психоаналитик не почувствовать всей важности соприкосновения с речью, которая задает его опыту и инструментарий, и границы, и материал, и даже гул окружающей его неизвестности?

### ***I. Смысл буквы***

Наш заголовок дает понять, что по ту сторону речи, в бессознательном, психоаналитический опыт обнаруживает цельную языковую культуру. Мы предупреждаем тем самым, что представление о бессознательном как о некоем седалище инстинктов, возможно, придется пересмотреть.

Но как нам нужно здесь понимать букву? Да так и понимать, буквально. Буквой мы называем тот материальный носитель, который

<sup>3</sup> Выступление состоялось 9 мая 1957г. в амфитеатре Декарта в Сорбонне, после чего обсуждалось в неофициальной обстановке.

<sup>4</sup> Die Frage der Laienanalyse, Gesammelte Werke, XIV, s: 281-283.

каждый конкретный дискурс черпает в языке.

Это простейшее определение предполагает, что язык не смешивается с различными соматическими и психическими функциями, поставленными ему на службу говорящим субъектом. Главным основанием этого предположения служит тот факт, что язык с его структурой возникает раньше, чем в него входит конкретный субъект на определенной стадии своего умственного развития.

Заметим, что афазии, вызванные даже чисто анатомическими повреждениями тех участков мозга, которые связаны с речевыми функциями, дают симптомы, которые, как оказалось, легко распределяются по двум руслам сигнификативного эффекта того, что мы здесь называем буквой<sup>5</sup>. В дальнейшем мы на этом остановимся подробнее.

Конечно, субъект может показаться рабом языка, но еще больше рабствует он дискурсу, в чьем всеохватывающем движении место его – хотя бы лишь в форме собственного имени – предначертано с самого рождения.

Ссылка на общественный опыт как субстанцию этого дискурса ничего не проясняет. Ибо самое существенное измерение этого опыта как раз и задается традицией, устанавливаемой самим этим дискурсом. Традиция создает базу элементарных структур культуры задолго до того, как в них вписывается драма истории. И сами эти структуры обнаруживают внутри себя порядок обменов, который, даже если считать его бессознательным, немислим без перестановок, санкционированных языком.

Отсюда следует, что этнографическая дихотомия природы и культуры должна при описании человеческой участи уступить место трихотомии природы, общества и культуры, причем последняя вполне может быть сведена к языку – тому, что принципиально отличает человеческое общество от других природных сообществ.

Мы не собираемся в этом отношении ничего решать или предрешать, оставив нерассеянным мрак тайны, окутывающий первоначальные отношения означающего и труда. Что же касается общей функции *практики* в происхождении истории, мне придется ограничиться указанием на то, что даже общество, чей политический строй призван восстановить привилегии производителя, а с ним и причинную зависимость идеологических надстроек от производственных отношений, не сумело, тем не менее, создать эсперанто, связь которого с социалистической реальностью лишила бы почвы самый вопрос о возможности литературного формализма<sup>6</sup>.

Мы предпочли бы довериться лишь определенному кругу пред-

---

<sup>5</sup> Этот аспект афазии, чрезвычайно показательный для опровержения затемняющей все дело концепции «психологической функции», особенно ясно выступает в чисто лингвистическом анализе двух главных форм афазии, проделанном одним из ведущих современных лингвистов Романом Якобсоном. См. самую доступную из его работ, «Fundamentals of Language» (совместно с Морисом Халле), Mouton, «S-Gravenhage», часть II, гл. I-IV.

<sup>6</sup> Вспомним, что дискуссия о необходимости возникновения в коммунистическом обществе нового языка действительно имела место, и что Сталин, к великому облегчению всех сторонников его философии, положил этой дискуссии конец, во всеуслышание заявив, что язык – это не надстройка.

посылок, ценность которых была подтверждена тем фактом, что, именно опираясь на них, языку удалось на практике добиться статуса научного объекта. В результате ведущую роль в той сфере, вокруг которой происходит перегруппировка наук, предвещая, как это водится, революцию в познании, взяла на себя именно лингвистика<sup>7</sup>. То, что в заглавии настоящего тома сфера эта, несмотря на путаницу, которая здесь кроется, названа «науками о человеке», обусловлено чисто коммуникативными соображениями.

Определяя истоки лингвистической дисциплины, мы скажем, что истоки эти – как и у всякой другой науки в современном смысле этого слова – следует искать в конституирующем моменте лежащего в ее основе алгоритма. Алгоритм этот следующий: S/s, что означает: означающее над означаемым, где предлогу «над» соответствует черта, разделяющая две его ступени.

Записанному таким образом знаку мы обязаны Фердинанду де Соссюру, хотя, строго говоря, мы не находим его в этой форме ни в одной из многочисленных схем, содержащихся в сборнике различных лекций из трех читанных им в 1906-07, 1908-09 и 1910-11 гг. лекционных курсов, опубликованном группой преданных ему учеников под заглавием «*Курс общей лингвистики*» – публикации основополагающей для распространения учения, достойного этого имени, т.е. позволяющего судить о себе лишь по своим собственным законам.

Вот почему мы чувствуем себя вправе именно ему воздать честь за формулу S/s, характеризующую, невзирая на различие школ, современный этап лингвистики в целом.

Тематика этой науки и в самом деле определяется теперь исходными позициями означающего и означаемого. Эти последние представляют собой два отдельных ряда, изначально разделенных чертой, сопротивляющейся означиванию. Именно это и делает возможным тщательное изучение связей, свойственных означающим, и установление их роли в происхождении означаемого.

Дело в том, что это исходное разделение выходит далеко за рамки спора о произвольности знаков, берущего начало в античной мысли и уже тогда зашедшего в тупик, исключая существование, по меньшей мере в акте номинации, взаимнооднозначного соответствия между словом и вещью. Исключающий, несмотря на видимое правдоподобие, придаваемое этому представлению ролью перста, который указывает на объект при усвоении *ребенком* своего родного языка или в так называемой «конкретной» методике изучения языков иностранных.

Продолжая мыслить в этом направлении, мы придем к выводу<sup>8</sup>, что не

<sup>7</sup> Лингвистика для нас – это изучение существующих языков с точки зрения их структуры и проявляющихся в ней законов. Вне ее области остаются, таким образом, теория абстрактных кодов, неправомерно относимая к теории коммуникации, а также возникшая в рамках физических наук т.н. теория информации, равно как и всякая с большей или меньшей степенью гипотетичности обобщенная семиология.

<sup>8</sup> См. книгу «De magistro» бл. Августина, главу из которой «De significatione locutionis» я комментировал на своем семинаре 23 июня 1954 г.



бывает значения, которое самим своим существованием не отсылало бы к другому значению. В итоге окажется, что языка, неспособного охватить сферу означаемого, не существует, поскольку само существование его в качестве языка предполагает удовлетворение любых потребностей. Любая попытка очертить в языке строение вещи сразу же сделает очевидным, что строение это проявляется лишь на уровне концепта, не имеющего ничего общего с простым номинативом; что *вещь* (*chose*), будучи сведена к имени, расщепляется на два расходящихся луча – *причины* (*causa*), в которой она укрылась в нашем языке (*chose*), и *ничто* (*rien*), забытом в сброшенном ею латинском платье (*rem*).

Но сколь бы существенными ни были эти соображения для философа, они лишь отвлекают нас от того места, с которого язык сам вопрошает нас о своей природе. И прояснить этот вопрос нам не удастся до тех пор, пока мы не освободимся от иллюзии, будто означаемое выполняет функцию репрезентации означаемого; другими словами, будто означаемое обязано оправдать свое существование ссылкой на какое бы то ни было значение.

Ибо даже в этой последней формуле кроется все та же прежняя ересь. Она-то и толкнула логический позитивизм на поиски значения значения, или «*meaning of meaning*», как именуют его цель энтузиасты этого поиска на лошадином своем наречии. В результате им приходится констатировать, что даже самый осмысленный текст оказывается в свете этого анализа ничего не значащей ерундой. Непроницаемым для него остаются лишь математические алгоритмы, которые, как им и положено, не имеют вовсе никакого значения<sup>9</sup>.

В результате, поскольку ничего, кроме параллелизма верхнего и нижнего терминов, каждый из которых берется исключительно как единое целое, из алгоритма S/s извлечь не удастся, алгоритм этот оказывается загадочным символом непроницаемой тайны. Что, конечно, совершенно неверно.

Чтобы пояснить, как он функционирует, я воспроизведу картинку, которой, по недоразумению, для этого обычно пользуются.

Вот она:

ДЕРЕВО

<sup>9</sup> Так, Ричардс, автор работы, специально посвященной соответствующим этой цели приемам, в другой своей работе демонстрирует их действие на конкретном примере. В качестве такового он выбрал страничку из Мэн-Цзы (Менциус, как его называли иезуиты), назвав ее «Менциус об уме». Гарантии чистоты эксперимента под стать его организационному размаху. И встреча со специалистом по каноническим текстам, включающим этот отрывок, происходит в Пекине, куда, невзирая на расходы, и переносится, к вящему удивлению публики, вся демонстрационная установка.

Но еще большее изумление возникает у нас при виде того, как колокол литой бронзы, звучащий при малейшем прикосновении мысли, превращается на наших глазах в тряпку для вытирания классной доски самого одиозного английского психологизма. Отождествляясь одновременно – увы! – с мозговой корой самого автора – тем единственным, что остается от его объекта и от него самого после того, как окончательно исчерпан смысл первого и здравый смысл второго.



Совершенно очевидно, что рисунок этот подталкивает нашу мысль в том самом направлении, на ошибочность которого мы только что указали.

Поэтому своим слушателям я предложил вместо него другой, счесть который более корректным можно было лишь потому, что он простирается на область неприличного, от которой психоаналитик не окончательно еще отказался, справедливо полагая, что только в ней его конформизм будет чего-то стоить.

### ГОСПОДА                      ДАМЫ

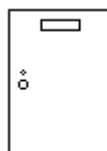
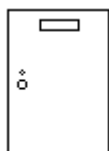


Рисунок показывает, что даже незначительное расширение сферы означаемого – скажем, удвоения именованного путем противопоставления в нем всего двух терминов, чей взаимодополняющий характер должен от этого, по идее, лишь укрепиться – приводит к образованию неожиданного смысла: возникает образ двух дверей-близнецов, которые, наряду с изолированным помещением, предлагаемым западному человеку для удовлетворения естественных нужд вне домашних стен, символизируют разделяемый им с громадным большинством примитивных сообществ императив, подчиняющий его публичную жизнь законам мочеиспускательной сегрегации.

Я говорю об этом не только для того, чтобы ударом ниже пояса положить конец номиналистским спорам, но и для того, чтобы показать, каким образом означаемое вступает в означаемое на самом деле; показать, другими словами, что форма означаемого, не будучи нематериальной, ставит вопрос о его месте в реальности. Не исключено ведь, что, поневоле приблизив свой сощуренный взгляд к несущим означаемое маленьким эмалированным табличкам, человек, страдающий близорукостью, вправе будет усомниться, здесь ли следует ему искать то означаемое, означаемое которого примет от выходящей из верхнего нефа двойной и торжественной процессии свои последние почести.

Но никакая нарочитая выдумка не сравнится по выразительности с происходящим в реальной жизни. И если я не сожалею о придуманном мною примере, то, главным образом, оттого, что одному весьма достойному доверия лицу он напомнил случай из его детства, который, попав таким образом в мое распоряжение, придется здесь очень кстати.

Подходит к вокзалу поезд. В одном купе друг против друга сидят мальчик и девочка, глядя в окошко на расположенные вдоль перрона здания. «Смотри, – говорит мальчик, – мы приехали в Дамы».

«Дурень, – отвечает сестренка, – ты что, не видишь, что мы приехали в Господа?»

Не говоря уже о том, что рельсы материализуют здесь черту в алгоритме Соссюра, и притом в форме, весьма удачно напоминающей нам, что сопротивление может быть не только диалектическим, нужно поистине иметь глаза на затылке, чтобы спутать здесь места означающего и означаемого и не суметь проследить, где находится тот источник света, лучи которого отбрасываются означающим в сумерки незавершенных значений. Ибо чисто животный и обреченный (подобно всякому природному омрачению) на забвение Раздор означающее превратит в неукротимую, беспощадную к семьям и мучительную для богов идеологическую войну. Господа и Дамы станут для этих детей двумя роинами, к которым окрыленно устремятся их души и примирить которые им тем более не удастся, что родина-то на самом деле одна, и ни один из них не смог бы поступиться превосходством своей собственной, не посягнув на славу своей соперницы.

Сказанного, пожалуй, довольно. Это напоминает историю Франции. Чисто по-человечески, она гораздо естественнее приходит здесь в голову, чем история Англии, обреченная вечно, как яйцо декана Свифта, перекачиваться с тупого конца на острый.

Остается сообразить, какие ступени и переходы должно преодолеть это «S» означающего, в формах окончаний множественного числа призывно фокусирующее внимание пассажиров по ту сторону оконного стекла, чтобы облокотиться на трубы вентиляции, по которым, подобно струям горячего и холодного воздуха, хлынут внутрь, по эту сторону, негодование и удивление.

Одно несомненно: если алгоритм S/s со своей чертой соответствует данной ситуации, их доступ вовнутрь в любом случае не повлечет за собой никакого значения. Ибо поскольку сам алгоритм является только функцией означающего, он может обнаружить лишь структуру означающего в его перемещениях.

Структура же означающего состоит, как говорят обычно о языке, в том, что оно артикулировано.

Это значит, что входящие в его состав единицы в любом случае, откуда бы мы ни начали описание их взаимопроникновений и разрастающихся слияний, подчинены двойному условию: они сводятся к простейшим дифференциальным элементам, сочетающимся затем в соответствии со строго определенным кругом законов.

Элементы эти, открытие которых явилось для лингвистики решающим, суть не что иное, как фонемы. Речь идет не об известном фонетическом постоянстве внутри модуляционной изменчивости, к которому этот термин применяется, а о синхронической системе

дифференциальных связей, необходимых для различения гласных в данном конкретном языке. Таким образом, очевидно, что в самой речи наиболее существенный ее элемент как бы по предопределению выливается в подвижные письмена (*caracteres*), которые, оттеснив Дидо и Гарамондов на задний план, достойно представляют то, что мы называем буквой, т.е. локализованную в своих основных чертах структуру означающего.

Из второго свойства означающего – сочетаться в соответствии со строго определенными законами – следует необходимость топологического субстрата, приблизительное понятие о котором дает обычно используемый мною термин «цепочка означающих»: кольца, образующие ожерелье, сцепленные с одним из колец другого состоящего из колец ожерелья.

Таковы структурные условия, определяющие – в качестве грамматики – порядок конституирующих взаимопроникновений означающего вплоть до образования речевых оборотов.

В тех пределах, в которых действуют эти два подхода к восприятию языка, легко убедиться, что эталоном всякого поиска значения служат в них исключительно соотношения означающих. Это прекрасно показывает понятие «использования» таксемы или семантемы, отсылающее к контекстам, которые ровно на порядок выше интересующих нас единиц.

Но из того, что грамматический и лексический подходы действуют лишь в ограниченных пределах, не следует, что за этими пределами безраздельно царит значение. Такой вывод был бы ошибочен.

Ибо означающее по самой природе своей всегда предвосхищает смысл и как бы расстилает перед ним свое собственное измерение. Это бывает хорошо заметно на уровне фразы, когда фраза эта перед значащим термином обрывается, например: «Никогда я не...», «Всегда получается так, что...», «Быть может, еще...». Она не делается от этого менее осмысленной, и смысл ее тем более навязчив, что вполне довольствуется ожиданием, которое сам провоцирует<sup>10</sup>.

Но разве что-то иное происходит, когда простое «но» являет нам красоту Суламифи и честность бедной девушки, приготовляя и наряжая негритянку к свадьбе, а бедняжку к продаже на невольничьем рынке?

А это значит, что смысл «настаивает» на себе именно в цепи означающих, и ни один из отдельных элементов этой цепи не «состоит» при этом в значении, которое он в момент речи способен принять.

Таким образом, напрашивается представление о непрерывном скольжении означаемого относительно означающего – явление, которое Соссюр иллюстрирует с помощью картинки, напоминающей волнистые линии, в старинных миниатюрах книги Бытия изображавшие верхние и нижние воды. И тонкие, подобные струям дождя, вертикальные пунктирные линии, предназначенные для выделения сегментов

<sup>10</sup> Вербальная галлюцинация, принимая эту форму, открывает перед нами дверь, ведущую к фрейдовской структуре психоза – дверь очень нужную, но до сих пор оставшуюся незамеченной.

сообщения, кажутся слишком хрупкими в этом двойном потоке.

Весь опыт восстает против такого способа выделения, и не случайно на одном из семинаров, посвященных психозам, я заговорил о «местах крепления», необходимых в этой схеме для указания на то, что ведущую роль в драматическом превращении, которое может произойти в субъекте в ходе диалога<sup>11</sup>, играет буква.

Однако линейности цепи дискурса, которую Соссюр, ввиду принадлежности ее одному голосу и горизонтали, в которую она на письме укладывается, считает конституирующей для этой цепи, самой по себе еще не достаточно. Ведь она навязывается цепи дискурса лишь в том направлении, в котором она ориентирована во времени, и во всех тех языках, где фразы типа «Петр бьет Павла» (*Pierre bat Paule*) изменяют смысл при изменении порядка слов, она даже включена в эту цепь в качестве значащего фактора.

Однако достаточно прислушаться к поэзии (а Соссюр, мы не сомневаемся, это делал<sup>12</sup>), чтобы услышать в звучании дискурса полифонию и убедиться, что он записывается одновременно на нескольких линиях партитуры.

На самом деле нет такой цепочки означающих, которая не поддерживала бы как бы подвешенными к пунктуации каждой из этих единиц все контексты, засвидетельствованные на проходящей через эту точку пунктуации вертикали.

И потому, взяв наше слово «дерево» (*arbre*) уже не в его номинальной изоляции, а на границе, отмеченной одной из таких точек пунктуации, мы увидим, что слово «черта» (*barre*) не так уж и случайно является его анаграммой – другими словами, что слово «дерево» переступает черту Соссюровского алгоритма.

Ибо разложенное в двойном спектре своих гласных и согласных, оно вызывает в памяти вместе с роббером и платаном все значения, которые сопутствуют ему в нашем растительном поясе – значения, исполненные силы и мужества. Вбирая в себя все символические контексты, окружающие его в еврейском тексте Библии, оно воздвигает на голом холме тень креста. Затем сводится к заглавному Y – знаку дихотомии – который, когда бы не затейливая картинка гербовника, ничем не был бы обязан дереву, сколь бы ни угодно было ему именоваться генеалогическим. Сосудистое дерево, «древо жизни» мозжечка, древо Сатурна или Дианы, древо проводящих молнию кристаллов – не в ваших ли чертах читаем мы свою судьбу на потрескавшемся в огне панцире черепахи, не ваша ли вспышка выхватывает из кромешной ночи (*innombrable nuit*) это

<sup>11</sup> Я имею в виду семинар 6 июня 1956 года, посвященный разбору первой сцены «Атали». Должен сознаться, что выбор мой не в последней степени был обусловлен замечанием некоего критика из интеллектуалов в «*New Statesman and Nation*» о «высоком распутстве» героинь Расина – замечанием, побудившим меня отказаться от разбора варварских драм Шекспира, ставшего обязательным в психоаналитических кругах, где они играют для филистеров роль своего рода знака избранности.

<sup>12</sup> Опубликованные в февральском номере *Mercure de France* 1946 года Яном Старобинским заметка Соссюра об анаграммах и их гипограмматическом использовании, начиная с Сатурновых стихов вплоть до текстов Цицерона, позволяют теперь утверждать с уверенностью то, о чем ранее мы могли только догадываться (примечание 1966г.).

неспешное превращение бытия (l'etre) в «Ev πάντα» языка:

Non! dit l'Arbre, il dit: Non! dans l'etincellement

De sa tete superbe

*(«Нет!» – говорит дерево, оно говорит: «Нет» – блистая своей великолепной вершиной.)*

Строки, которые, по нашему мнению, имеют такое же законное право быть расслышанными в обертонах дерева, как и их продолжение:

Que la tempete traite universellement

Comme elle fait une herbe

*(Которую буря треплет так же, Как она треплет траву)*

Ибо эта строфа современной поэмы построена по тому самому закону параллелизма означающего, которому в равной мере подвластны и примитивный эпос славянина, и утонченнейшая поэзия китайца.

Свидетельством тому уже то, что дерево и трава принадлежат к одному роду сущего. Ведь они выбраны таким образом и с тем расчетом, чтобы могли появиться такие знаки противопоставления, как «говорить «нет!» или «трепать как», и чтобы вопреки решительному контрасту между уникальностью «великолепного» и «всеобщностью» его уничтожения возникло бы в сгустке «tete» (вершина) и «tempete» (буря) едва заметное свечение момента вечности.

Нам возразят, конечно, что все это означающее может действовать лишь постольку, поскольку оно присутствует в субъекте. Но именно этому требованию и удовлетворяет мое предположение, что означающее перешло на уровень означаемого.

Ведь важно вовсе не то, что скрывается в субъекте (будь слова «Господа» и «Дамы» написаны на языке, девочке и мальчику незнакомом, их спор тем более оставался бы спором исключительно о словах, но с ничуть не меньшей вероятностью мог бы оказаться нагружен значением).

Что действительно обнаруживает подобная структура цепочки означающих, так это возможность для меня, в той мере, в которой я разделяю ее язык с другими субъектами, т.е. в той мере, в которой этот язык еще существует, пользоваться ею для означения чего-то совершенно постороннего тому, что говорит она сама. Эти функции речи гораздо более достойны внимания, нежели ее функция по сокрытию мысли субъекта (по большей части невразумительной), т.е. по указанию места этого субъекта в поисках истины.

Ведь стоит мне поместить мое дерево (arbre) в выражение «вскарabкаться на дерево» (grimper l'arbre), или просто бросить на него обманчивый ответ, данный описательным контекстом слову «водружать» (arborer), и я уже никогда не стану пленником никакого содержащего факта сообщения, и, коли я знаю истину, смогу вопреки любой цензуре высказать ее между строк, воспользовавшись тем единственным означающим, которое сформируется в результате проделанных мною в ветвях дерева акробатических трюков – трюков, которые могут быть или бурлескно вызывающими, если я хочу обратить на себя взор толпы, или за-

метными лишь для опытного взгляда, если я стремлюсь привлечь внимание немногих.

Чисто означающая функция языка, которую я здесь описываю, имеет имя. Имя это знакомо нам еще с последней страницы детской Грамматики, где в призрачной главе укрывалась тень Квинтилиана, чтобы скороговоркой, словно боясь угодить в квадратные скобки, возвестить нам вечные истины стиля.

Именно в перечне стилистических фигур, или «тропов» (слово, от которого происходит французский глагол *trouver*, находить) как раз и находится искомое нами имя. Имя это – *метонимия*.

Мы ограничимся лишь тем примером, который был нам предложен: тридцать парусов. Ибо беспокойство, обусловленное тем, что спрятанное здесь слово «корабль» казалось удвоившим свое присутствие, заимствовав, ввиду избитости примера, свой собственный переносный смысл, скрывало от нашего взора (*voilait*) не столько сами эти прославленные паруса (*voiles*), сколько то определение, которое они предназначены были проиллюстрировать.

Если речь идет о реальных предметах – рассуждали мы – то часть, принятая за целое, не дает нам никакого представления о том, насколько значителен флот, величину которого мы призваны здесь по количеству парусов оценить: ведь редкое судно несет один-единственный парус.

А отсюда следует, что соединение судна и паруса происходит не иначе как в означающем, и что именно соединение «слово в слово» (*mot a mot*) и служит опорой метонимии<sup>13</sup>.

Итак, именем метонимии мы назовем первое русло в том силовом поле, которое создается означающим для возникновения смысла.

Переходим к другому, противоположному руслу. Это – *метафора*. За примером дело не станет. Мне показалось, что подходящий и не вызывающий подозрения в нарочитости образчик можно найти в словаре Кийэ, и я, недолго думая, выбрал в нем известную строку Виктора Гюго: «*Sa gerbe n'etait pas avare ni haineuse*» (его сноп не знал ни жадности, ни

<sup>13</sup> Мы спешим воздать должное Роману Якобсону, чьим трудам мы в немалой степени обязаны этой формулировкой – трудам, оказывающим всякому аналитику неоценимую помощь в структурировании его опыта и делающим излишними всякие «личные контакты», с которыми у меня дело обстоит ничуть не хуже, чем у любого другого.

На самом деле в этой уклончивой форме покорности без труда угадывается стиль бессмертной пары – Розенкранца и Гильденстерна, разлучить которых ничто, даже незавершенность их судьбы, не в силах, ибо сохраняется эта парочка тем же методом, что и нож Жанно, и по той самой причине, на которую указывал Гете, хваля Шекспира за то, что тот представил двоих как один персонаж: ведь они вдвоем представляют собою целое *Gesellschaft*, само Общество – под которым я разумею Международную Психоаналитическую Ассоциацию.

Отрывок из Гете стоит того, чтобы его привести целиком: *Dieses leise Auftreten, dieses Schmiegen and Biegen, dies Jasagen, Streicheln und Schmeicheln, diese Bebedigkeit, dies Schwanzlein, diese Allheit and Leerheit, diese rechtliche Schurkerei, diese Unfähigkeit, wie kann sie durch einen Menschen ausgedruckt werden? Es sollten ihrer wenigstens ein Dutzend sein, wenn man sie haben koennte; denn sie bloss in Gesellschaft etwas, sie sind die Gesellschaft ...* (Wilhelm Meister Lehrjahre. Trunz, Christian Werner Verlag, Hamburg, V, s.299).

Пользуясь случаем, поблагодарим также И.М.Левенштейна, автора статьи «Some Remarks on the Role of Speech in Psychoanalytic Technique» (I.J.P.. 1956. XXXVII, p.467) за честное признание, что «заметки его «основаны» на работе 1952 года. Это, безусловно, объясняет тот факт, что работы, появившиеся в свет позже, никакого следа в его статье не оставили, хотя автор их, безусловно, знает, ибо называет меня их «издателем» (sic: Я прекрасно знаю, что значит по-английски «*éditeur*»).

злости), уже послужившую мне примером на семинаре, посвященном психозам.

Надо сказать, что современная поэзия и сюрреалистическая школа сильно помогли нам, показав, что в принципе всякое соединение любых двух означающих может с равным успехом образовать метафору; но для возникновения поэтической искры, т.е. для того, чтобы метафорическое творение состоялось, образы означаемого должны быть максимально чужеродны друг другу.

Конечно, это радикальное воззрение основано на так называемом опыте автоматического письма, на который первопроходцы его никогда не решились бы, не придай им открытия Фрейда необходимой уверенности. Однако воззрение остается не вполне ясным, ибо теория его ложна.

Творческая искорка метафоры вспыхивает вовсе не из сопоставления двух образов, т.е. двух в равной степени актуализованных означающих. Она пробегает между двумя означающими, одно из которых вытеснило другое, заняв его место в цепочке означающих, а другое, вытесненное, сокровенно присутствует в силу своей связи (метонимической) с остальной цепочкой.

*Слово за слово (un mot pour un autre)* – вот формула метафоры, и если вы поэт, вы с легкостью, играючи, можете взорваться целым фонтаном их, сплести из них ослепительную ткань. Если в результате вы испытаете опьянение, которое напечет вам о носящем это название диалоге Жана Тардые – неудивительно, ибо в нем как раз и демонстрируется, что для абсолютно убедительного разыгрывания буржуазной комедии любое значение абсолютно излишне.

Из строк Гюго совершенно ясно, что утверждение, будто сноп не зол и не жаден, ровным счетом ничего не проясняет, по той простой причине, что о том, заслуживает ли он этих эпитетов, просто и речи нет: ведь и тот, и другой принадлежат Воозу, проявляющему эти качества по отношению к снопу, не уведомляя его о своих чувствах.

Если сноп отсылает нас к Воозу – а так, между прочим, дело и происходит – то объясняется это тем, что он заменяет Вооза в цепочке означающих; заменяет на том самом месте, в котором жадность и злоба должны были, к вящему его прославлению, быть выметены прочь. На самом деле сноп очистил это место от самого Вооза, оказавшегося выброшенным во тьму внешнюю, где жадность со злобой укрывают его в полости своего отрицания.

Но раз сноп занял это место, вернуться туда, связав это возвращение с титулом владельца, который удержал бы его в лоне жадности и скупости, Воозу уже не удастся – ведь тонкая нить местоимения, связывающая «его», Вооза с этим местом, служит тому дополнительным препятствием. Его провозглашаемое великодушие оказывается сведенным на нет щедростью снопа, который по природе своей не знает наших ограничений и отказов, и даже в приумножении своем представляется нам расточительным.



Но едва исчезнув вместе со своим даром, эта избыточная щедрость дарителя возникает вновь, и на сей раз вокруг той самой фигуры, в которой она упразднила себя. Ибо ореол, окружающий ее плодородие, как раз и возвещает воспеваемое в поэме чудо, заключенное в священный контекст обетования будущего отцовства.

Таким образом, искра поэзии вспыхивает между двумя означающими, одно из которых является именем собственным, а другое метафорически упраздняет первое. В данном случае значение отцовства реализуется особенно эффективно, так как происходит воспроизведение мифического события, послужившего Фрейд для реконструкции тайны отцовства, шаг за шагом разыгрывающейся в подсознании каждого человека.

Точно такую же структуру имеет и современная метафора. И потому восклицание: «*L'amour est un caillou riant dans le soleil*» («Любовь – это камешек, смеющийся на солнце») воссоздает любовь в измерении, которое мне представляется более приемлемым, нежели грозящее ей соскальзывание в мираж альтруистического нарциссизма.

Как видим, метафора становится на то самое место, где в бессмыслице возникает смысл, т.е. существует на пороге, который при переходе в обратном направлении дает, как показал Фрейд, то самое слово, которое во французском языке есть «слово» (*le mot*, «словцо») по преимуществу, чьим единственным покровителем является в языке означающее «остроумие» (*l'esprit*)<sup>14</sup>; именно на этом пороге становится ясно, что насмешкой над означающим человек бросает вызов самой своей судьбе. Но, возвращаясь к прежнему, спросим: что же еще находит человек в метонимии, кроме возможности обходить препятствия социальной цензуры? Эта форма, дающая угнетаемой истине свое пространство, не обнаруживает ли она некоей присущей ей показу рабской зависимости?

С немалой пользой для себя можете вы прочесть книгу, где Лео Страус, вступив на землю, ставшую традиционным убежищем для избравших свободу, предается размышлению о соотношении между преследованиями и искусством письма<sup>15</sup>.

Изучив тщательнейшим образом соприродность искусства с состоянием преследования, он обращает внимание на нечто такое, что накладывает свой отпечаток, проявляясь в воздействии истины на желание.

Но разве теперь, когда в поисках фрейдовской истины мы вступили на путь буквы, мы не чувствуем, что нам все теплее и теплее, что истина уже прямо-таки обжигает нас?

Недаром говорят, конечно, что буква убивает, а дух животворит. Уж коли мы поприветствовали здесь благородную жертву заблуждения, как

<sup>14</sup> Именно это слово является эквивалентом немецкого *Witz*, знаменующего перспективу, в которой Фрейд рассматривает бессознательное в третьей посвященной ему фундаментальной работе. Показательна трудность, с которой мы встречаемся, пытаясь подобрать этому слову английский эквивалент; *wit*, под тяжестью споров, которые велись вокруг этого слова от Давенанта и Гоббса до Попа и Аддисона, передал свои существенные свойства слову *humor*, которое, однако, означает нечто совсем другое. Остается лишь *rip*, но его значение слишком узко.

<sup>15</sup> Leo Strauss. *Persecution and the Art of Writing*. The Free Press, Glencoe, Illinois.

раз и заключающегося в буквализме, то отрицать это мы не станем. Но, тем не менее, нам интересно: а как все-таки дух собирается выжить без буквы? Впрочем, претензии духа так и остались бы неколебимыми, не сумеи буква доказать, что все, имеющее отношение к истине, производит в человеке она сама, без какого бы то ни было вмешательства со стороны духа.

Откровение это было Фрейду, и открытое им он назвал бессознательным.

## ***II. Буква в бессознательном***

Каждая третья страница собрания сочинений Фрейда содержит филологические ссылки, на каждой второй вы найдете логические заключения, и буквально повсюду присутствует диалектическое восприятие опыта, в котором анализ языка играет тем большую роль, чем непосредственное задействовано в этом опыте бессознательное.

На любой странице «Толкования сновидений» речь идет как раз о том, что мы называем буквой дискурса, о ее фактуре, ее использовании, ее имманентности изучаемому предмету. Ибо работа эта открывает царский путь к бессознательному. И об этом нас открыто предупреждает сам Фрейд. Сделанное им при выходе этой книги, в первые дни нынешнего века<sup>16</sup> удивительное признание лишь подтверждает то, что он не устал повторять до конца своих дней: здесь, в идеях этой книги, поставлено на карту все его открытие.

Первый ее тезис, сформулирован уже во вступительной главе, так как все дальнейшее изложение без него обойтись не может, и состоит в том, что сновидение – это ребус. И тут же следует оговорка, что понимать это положение следует так, как я с самого начала и говорил, т.е. буквально, что обусловлено деятельным присутствием в сновидении той самой буквенной (другими словами, фонематической) структуры, в которой внутри дискурса артикулируется и поддается анализу означающее. Подобно упомянутым Фрейдом противоестественным фигурам корабля на крыше и человека с запятой вместо головы, образы, населяющие сновидения, должны рассматриваться лишь в качестве означающих, т.е. интересовать нас постольку, поскольку позволяют сформулировать зашифрованную ребусом сновидения «пословицу». Подобная структура языка, позволяющая «читать» сновидения, лежит в основе и значения сновидения, и его толкования (Traumdeutung).

Всеми доступными способами Фрейд показывает, что ценность образа как означающего не имеет ничего общего с его значением. В качестве примера он приводит египетские иероглифы: в самом деле, смешно было бы, увидев, что в тексте часто встречаются ястреб (алеф) и цыпленок (вау), служащие для обозначения одной из глагольных форм и множественного числа, заключить, что текст имеет какое-то отношение к орнитологии. Фрейд указывает, правда, что в письменности этого типа означающее имеет некоторые функции, в нашем письме утраченные – скажем,

<sup>16</sup> См. переписку, письма № 107 и 119.

использование детерминатива, соединяющего категорическую фигуру с буквальным изображением вербального термина, – но делает это, лишь стараясь привести нас к мысли, что и пресловутые «идеограммы» этой письменности суть не что иное, как буквы.

Но даже если не брать в расчет обычной путаницы в употреблении этого термина, психоаналитик, не имеющий лингвистического образования, всегда склонен оказать предпочтение символизму, происходящему из естественной аналогии, или даже из соответствия образа и инстинкта. Это до такой степени характерно, что всем – кроме психоаналитиков французской школы, которые не попадутся в эту ловушку – приходится напоминать, что читать на ярлыке сорт кофе совсем не то же, что читать иероглифы, возвращая их тем самым к исходным принципам психоаналитической техники – техники, которой не было бы оправдания, не будь она направлена на бессознательное.

Однако надо сказать, что понимание этого дается с трудом, и что описанное выше недомыслие до такой степени распространено, что психоаналитика нужно прежде убедить, что он занимается декодированием, а уже потом, может быть, он решится пройти вместе с Фрейдом по его маршруту («посмотрите на статую Шампольона» – скажет ему гид), и поймет, что он занимается ни чем иным, как дешифровкой; разница в том, что криптограмма становится в полном смысле слова криптограммой лишь в том случае, если она записана на утраченном языке.

Следуя этим маршрутом, мы просто-напросто продолжаем толкование сновидений – *Traumdeutung*.

*Entstellung*, т.е. искажение, преобразование, являющееся для Фрейда общим условием функционирования сновидений, и есть то самое, что мы, следуя Соссюру, определили выше как совершающееся (бессознательно совершающееся!) в любом дискурсе скольжение означаемого под означаемым.

Влияние означаемого на означаемое осуществляется при этом по обоим известным нам руслам.

*Verdichtung*, т.е. сгущение, конденсация, представляет собой структуру взаимоналожения означаемых, являющуюся полем действия метафоры – структуру, само имя которой, включающее в себя слово *Dichtung* (поэзия), указывает на родство указанного механизма с поэзией, и родство настолько тесное, что он вбирает в себя традиционную функцию этой последней.

*Verschiebung* – это немецкое слово лучше, нежели наше «смещение», передает то демонстрируемое метонимией отклонение значения, которое со времени своего появления на страницах Фрейда является наиболее эффективным из приемов, применяемых бессознательным для обхода цензуры.

Но что же отличает эти два механизма, играющие особую роль в «работе сновидения» (*Traumarbeit*), от их гомологической функции в

дискурсе? – Да ничего, кроме накладываемого на означающий материал условия, немецкую формулировку которого, *Rucksicht auf Darstellbarkeit*, лучше всего переводить как «учет средств представления» (перевод «роль возможности иносказательного выражения» был бы слишком уж приблизительным). Но условие это создает ограничение, которое действует внутри системы письма, отнюдь не растворяя эту систему в семиологии иносказательного, где она оказалась бы в одном ряду с естественными экспрессивными феноменами. Тем самым можно было бы пролить свет на проблемы некоторых типов пиктографии: тот факт, что ввиду их несовершенства письменность от них отказалась, еще не дает права считать их пройденными эволюционными стадиями. Сновидение можно, пожалуй, сравнить с той салонной игрой, в которой участники должны угадать пословицу или ее вариант, разыгрываемый одним из них в виде пантомимы. То, что в сновидение бывает включена речь, ничего не меняет: ведь для бессознательного речь эта будет лишь одним из множества элементов представления. И как только игра или сновидение упрутся в недостаток таксематичного материала для репрезентации логических артикуляций причинности, противоречия, предположения и т.д., сразу же станет ясно, что подлинной стихией того и другого является письмо, а не пантомима.

Тонкие ходы, на практике используемые сновидениями для репрезентации этих логических артикуляций (гораздо менее искусственные, нежели те, которыми обычно располагает игра) служат для Фрейда объектом специального исследования, лишней раз подтверждающего, что функционирование сновидения подчиняется законам означающего.

Остальные детали сновидения представляются Фрейду вторичными: ведь речь идет, по сути дела, о фантазиях или «снах наяву», которые Фрейд предпочитает называть *Tagtraum*, подчеркивая тем самым их функцию, состоящую в исполнении желания (*Wunscherfullung*). Отличительной чертой их, с учетом того, что эти фантазии могут остаться бессознательными, является их значение. Согласно Фрейду, роль этих фантазий в сновидении состоит либо в том, чтобы войти в него в форме значащих элементов, служащих для выражения бессознательной мысли (*Traumgedanke*), либо в том, чтобы послужить его вторичной детализации, о которой здесь идет речь, т.е. выступить в функции, неотличимой от мышления в состоянии бодрствования (*von unserem wachen Denken nicht zu unterschieden*). Наилучшее представление об этой функции дает сравнение ее с наложенными на трафарет для рисования красочными пятнами, благодаря которым клише трафарета, сами по себе вида скорее отталкивающего и напоминающие более всего ребус или иероглифы, создают иллюзию предметной живописи.

Простите мне то буквоедство, с которым я разбираю текст Фрейда: я хотел не просто показать, сколь полезно бывает не резать этот текст по живому, но и вернуться в оценке того, что произошло в психоанализе, к

его первоначальным, основополагающим и уже прочно забытым ориентиром.

С самого начала прошло незамеченным то, что в статусе, который Фрейд со всей формальной строгостью приписывал бессознательному, конституирующая роль принадлежала означаемому.

На то есть две причины, и наименее всего бросалась в глаза, естественно, та, что формального аппарата, которым располагал Фрейд, было недостаточно для выявления инстанции означаемого, ибо работа «Толкование сновидений» вышла в свет задолго до появления формального аппарата лингвистики, которому работа эта, бесспорно, проложила путь самой весомостью заключенной в ней истины.

Вторая причина является, по сути дела, лишь оборотной стороной первой: ведь зачарованность психоаналитиков обнаруженными в бессознательном значениями как раз и объясняется тайной притягательностью диалектики, как им казалось, имманентной этим значениям.

На своих семинарах я показал, что когда Фрейд, стараясь сохранить свое открытие и переориентировать в соответствии с ним всю систему человеческого знания, часто менял направление и ложился, казалось, на другой курс, целью его как раз и было создать противодействие непрерывно нарастающим последствиям этой односторонности в его истолковании.

Ибо – повторяю – не располагая ничем, что по степени научной зрелости находилось бы на уровне его открытия, он сумел, по крайней мере, сохранить этому объекту его онтологическое достоинство.

На остальное была воля Божья, и в наши дни психоанализ ориентируется на те воображаемые формы, чьи очертания сохраняются, как я показал, в изувеченном им тексте. Именно на них направлен взгляд современного психоаналитика. Интерпретируя сновидения, он связывает их с призрачным освобождением из иероглифической вольеры, а определить момент, когда средства анализа будут исчерпаны, пытается, как правило, с помощью «сканирования»<sup>17</sup> этих форм, где бы они ни появлялись, будучи в твердом убеждении, что именно они свидетельствуют об исчерпанности регрессий и о завершении перестройки того «объектного отношения», в котором, по его мнению, находит свое воплощение тип субъекта<sup>18</sup>.

Опирающаяся на подобные представления техника может оказаться в ряде случаев плодотворной и под эгидой теории почти неуязвимой для критики.

Однако бросающееся в глаза несоответствие между способом воздействия, на котором эта техника построена, т.е. правилом анализа, весь инструментарий которого, начиная с так называемых «свободных

---

<sup>17</sup> Как известно, это метод, обеспечивающий достоверность результата исследования путем механического изучения всего пространства его объекта.

<sup>18</sup> Опираясь исключительно на развитие организма, типология игнорирует структуру, в которую укладывается субъект, соответственно, в фантазме, во влечении и в сублимации – структуру, теорию которой я в настоящее время вырабатываю (примечание 1966г.).

ассоциаций», опирается на выработанную его изобретателем концепцию бессознательного, с одной стороны, и полным непониманием этой концепции, с другой, дает повод для критики изнутри. Критики, которую наиболее горячие сторонники этой техники надеются парировать чистым софизмом: аналитическое правило должно, мол, соблюдаться тем более свято, что его появлению мы обязаны лишь счастливой случайности. Другими словами, Фрейд и сам толком не знал, что делал.

Однако, вернувшись к тексту Фрейда, мы без труда убедимся в полном соответствии его техники его открытию – соответствию, позволяющем указать каждой процедуре ее точное место.

Вот почему при любом усовершенствовании, вносимом в психоанализ, необходимо заново осознать истинность этого открытия, на возникновение которого ничто не может бросить ни малейшей тени.

Ведь анализируя сновидения, Фрейд не ставит себе иной цели, как продемонстрировать применимость законов бессознательного в самой широкой сфере. Одна из причин, по которой сны оказались для этого самым подходящим материалом, как раз и состояла, по словам самого Фрейда, в том, что они позволяют обнаружить действие этих законов у любого нормального субъекта, а не только у больного.

Однако ни у того, ни у другого деятельность бессознательного с пробуждением не завершается. Психоаналитический опыт как раз и позволяет установить тот факт, что ни одно из наших действий не остается вне сферы влияния бессознательного. Тем не менее, его присутствие в сфере психологического, другими словами, в функциях отношения индивида, требует уточнения: бессознательное не коэкстенсивно этой сфере, ибо, хотя бессознательная мотивация дает о себе знать как в сознательных, так и в бессознательных психических явлениях, остается в силе и та азбучная истина, что существует множество психических явлений, вполне по праву, т.е. ввиду отсутствия в них признака сознания, именующихся бессознательными, но вместе с тем не имеющих ничего общего с бессознательным во фрейдовском смысле. Эта терминологическая путаница и приводит к тому, что бессознательное в этом смысле смешивают с психическим, относя к этому последнему, например, влияние бессознательного на соматику.

Дело, следовательно, в точном определении топки этого бессознательного. Я утверждаю, что это и есть та толика, которая описывается алгоритмом S/s.

Вытекающие из него соображения о влиянии означющего на означаемое позволяют преобразовать эту формулу следующим образом: f(S) I/s.

Мы показали следствия присутствия в означаемом не только элементов горизонтальной цепочки означющих, но и вертикальных связей, распределив эти следствия, в соответствии с их фундаментальной структурой, по двум категориям: метонимии и метафоры.

Мы можем дать этим категориям символическое обозначение.

Формула  $\{(S...S')S \cong S(-)\}_s$  выражает метонимическую структуру, указывая, что именно связь одного означающего с другим делает возможным пропуск, с помощью которого означающее вводит недостаток бытия в объектное отношение, пользуясь присущим значению свойством обратной референции, чтобы вложить в него желание, направленное на тот самый недостаток, которому это значение служит основанием. Знак «—», помещенный в скобки, означает здесь сохранение черты, символизирующей в исходном алгоритме S/s ту несводимость означающего к означаемому, в силу которого внутри их отношений возникает сопротивление значения<sup>19</sup>.

Переходим к метафорической структуре:

$\{(S')S \cong S(+)\}_s$

Ее формула показывает, что эффект значения, возникающий в поэзии и в любом творчестве, т.е. возникновение значения, о котором идет речь, имеет место при замене одного означающего на другое<sup>20</sup>. Помещенный в скобки знак «+» символизирует здесь преодоление черты – и влияние этого преодоления на возникновение конституируемого им значения.

Преодоление это выражает условие того перехода означающего в означаемое, о котором я говорил выше, еще не отделяя этот вопрос от вопроса о месте субъекта.

Именно на функции субъекта, введенного таким образом в рассмотрение, нам и следует сейчас остановиться, ибо именно в ней сосредоточена вся суть нашей проблемы.

Значение формулы «Я мыслю, следовательно, я существую» (*cogito ergo sum*) отнюдь еще не исчерпывается тем, что в точке исторического апогея рефлексии над условиями возможности науки она стала связующим звеном между прозрачностью трансцендентального субъекта и его экзистенциальным утверждением. Пусть я всего-навсего объект или механизм (а значит, просто феномен и ничего больше), но поскольку Я так мыслю, я и есмь – абсолютно и безусловно. Философы, конечно, ввели в это утверждение немало важных поправок, в частности ту, что в «думающем» (*cogitans*) я способен конституировать себя лишь в качестве объекта (*cogitatum*). Тем не менее, создается впечатление, что это радикальное очищение трансцендентального субъекта делает мою экзистенциальную связь с его проектом – во всяком случае, в настоящей его форме – неопровержимой и что формула «*cogito ergo sum*» *ubi cogito, ibi sum* позволяет снять это возражение.

Правда, это несколько ограничивает меня, позволяя мне пребывать в моем бытии лишь постольку, поскольку я думаю, что пребываю в своей мысли; думаю ли я так в действительности, касается только меня, и мое

<sup>19</sup> Знак = означает здесь конгруэнтность.

<sup>20</sup> Знак S' означает в данном контексте тот термин, который производит означающий эффект (или значение); в метонимии он является латентным, а в метафоре выступает открыто.

признание никого не интересует<sup>21</sup>.

Однако уходить от этой проблемы, ссылаясь на ее философский характер, было бы просто-напросто симптомом подавления. Ибо в обращении с такой наукой, как стратегия (в современном смысле этого слова), чьи расчеты исключают всякий «субъективизм», без понятия субъекта просто не обойтись.

Одновременно это значило бы закрыть себе доступ в ту сферу, которую, по аналогии с коперниковской вселенной, можно было бы назвать вселенной фрейдовской. Не зря ведь и сам Фрейд сравнивал свое открытие с коперниковским переворотом, подчеркивая тем самым, что речь вновь идет о претензиях человека на центральное место во вселенной.

Речь идет не о том, чтобы знать, насколько то, что я о себе говорю, соответствует тому, что я есть, а о том, тождествен ли я, когда я говорю о себе, тому, о ком я говорю? И здесь вполне уместно будет воспользоваться термином «мысль». Ибо сам Фрейд обозначает этим термином вовлеченные в работу бессознательного элементы, т.е. те означающие механизмы, присутствие которых мы только что в нем обнаружили.

И все же именно философское *cogito* лежит у истоков иллюзии, которую и в современного человека, горьким опытом наученного избегать ловушек, расставленных самолюбием, вселяет уверенность, что, даже сомневаясь в себе, он остается самим собой.

Более того, если, обращая метонимию, оружие ностальгии, против нее самой, я откажусь от поисков смысла по ту сторону тавтологии, решившись во имя «война есть война» и «грошу грош цена», оставаться лишь тем, что я есть, как удастся мне уйти от того очевидного факта, что я есмь в самом этом акте?

То же самое происходит и на другом, метафорическом полюсе поисков обозначения: посвятив себя тому, чтобы стать тем, что я есть, чтобы войти в бытие, я не могу допустить и сомнения, что, даже утратив себя в этих поисках, я в них по-прежнему есмь.

Вот здесь-то, где очевидность будет опытно опровергнута, как раз и кроется весь фокус совершенного Фрейдом переворота.

Вся игра означающими между метонимией и метафорой, вплоть до острия ее, вклинивающегося в мое желание между отказом от означающего или нехваткой бытия и связывающего мою судьбу с моим предназначением, с неумолимой и филигранной точностью разыгрывается, вплоть до окончания партии, там, где меня нет, так как определить в ней свое место я не в состоянии.

А это значит, что слов «Я мыслю там, где я не есмь, следовательно, я есмь там, где я не мыслю» – тех слов, что на какое-то мгновение повергли в изумление моих слушателей и в которых чуткое ухо без труда уловит двусмысленность убегающего от нас по словесной нитке колечка смысла –

---

<sup>21</sup> Совершенно по-другому обстоит дело, если, задавая, к примеру, вопрос: «Почему философы?» – я выдаю себя за более простодушного, чем я есть на самом деле, ибо задаю я при этом не просто вопрос, который философы испокон века задавали себе сами, а вопрос, в котором они, пожалуй, более всего заинтересованы.



здесь будет уже недостаточно.

А правильно будет сказать вот так: «Я не есмь там, где я игрушка моей мысли; о том, что я есмь, я мыслю там, где я и не думаю мыслить».

Эта двулика тайна смыкается с двумя фактами: во-первых, что представление об истине может возникнуть лишь в измерении алиби, где всякий «реализм» в творчестве заимствует свои свойства у метонимии, и, во-вторых, что доступ к смыслу открывается лишь через дважды меняющий свое направление ход метафоры, ключ к которому на обоих его поворотах заключается в следующем: S и s алгоритма Соссюра не лежат в одной плоскости, и полагая, что место его на общей оси, человек заблуждается, ибо ось эта не проходит нигде.

Точнее, *не проходила*, пока Фрейд не открыл ее. Ведь если открытие Фрейда состоит не в этом, то никакого открытия просто-напросто не было.

Самая твердая реальность, которую содержание бессознательного с его обманчивой двусмысленностью предоставляет в наше распоряжение внутри субъекта – это непосредственная данность; действительность этого содержания обусловлена истиной, и обусловлена в измерении бытия: Kern unseres Wesen (ядро нашего существа) – вот определение самого Фрейда.

Двойной спусковой механизм метафоры и есть тот самый механизм, с помощью которого получает определенность симптом (в аналитическом смысле). Между загадочным означающим сексуальной травмы и термином, замененным им в реальной цепочке означающих, пробегает искра, фиксирующая в симптоме – а он представляет собой метафору, включающую плоть или функцию в качестве означающего элемента – значение, недоступное для сознательного субъекта, в котором симптом этот может быть снят.

И все те загадки, что задает желание «натурфилософии», все имитирующее бездну бесконечности неистовство его, секретный сговор, в который оно вовлекает удовольствие познания и господства вкупе с наслаждением, объясняются одним-единственным нарушением в работе инстинкта – его установкой на вечно простирающиеся к «желанию другого» рельсы метонимии. Чем и объясняется его «извращенная» фиксация на той точке остановки цепочки означающих, где экран памяти замирает в неподвижности и завораживающий желание образ-фетиш застывает подобно статуе.

Единственный способ объяснить неразрешимость бессознательного желания – это присутствие потребности, которая, наталкиваясь на запрет, не отмирает, даже если это ведет к разрушению всего организма. Именно в памяти, вполне сравнимой с тем, что носит это название в современных «думающих машинах» (основанных на электронной реализации означающих структур) и кроется та цепочка, которая настаивает на своем воспроизведении в переносе и представляет собой цепочку мертвого желания,

Своим симптомом субъект кричит об истине того, чем было его желание в прошлом, точно так же, как возопили бы, по словам Христа,

камни, не предоставь им дети Израиля свой собственный голос.

Вот почему только психоанализ позволяет выделить в памяти функцию припоминания. Будучи укоренена в памяти, она разрешает платоновские апории реминисценции признанием власти, которую имеет над человеком его история.

Достаточно прочесть «Три очерка по теории сексуальности» (скрытые ныне от публики под покровом бесчисленных псевдобиологических толкований), чтобы убедиться, что всякий доступ к объекту Фрейд ставил в зависимость от диалектики возвращения.

Таким образом, начав с гельдерлиновского *восто́ц*, Фрейд придет двадцать лет спустя к кьеркегоровскому *повторению*. Другими словами, поставив с самого начала свою мысль в исключительную зависимость от скромных, но жестких условий «лечения разговором» (talking cure), он так и не смог избавиться от живых цепей рабства, которое привело его от суверенного начала Логоса к переосмыслению эмпедокловых антиномий смерти. И где, кроме той «другой сцены», о которой он говорит как о месте сновидения, понятным станет для нас, его, человека науки, обращение к «Богу из машины» – Богу, утрачивающему свой комический облик, когда зритель осознает, что машина эта управляет и самим режиссером. Чем, кроме смирения перед силой преодолевающего все предрассудки свидетельства, можно объяснить, что в девятнадцатом веке такой ученый, как Фрейд, из всех своих работ более всего ценит «Тотем и Табу», с ее непристойной и свирепой фигурой первобытного отца, требующего неизбывного искупления в вечном ослеплении Эдипа – книгу, превозносимую всеми современными этнологами как подлинный, выросший на наших глазах миф?

И властное появление на свет тех особых символических созданий, что именуются детскими сексуальными теориями и мотивируют навязчивости невротиков во всех деталях, обусловлено той же необходимостью, что и появление мифа.

В применении к тому месту, на котором я остановился сейчас на моем семинаре, посвященном Фрейду, это означает, что маленький Ганс, в возрасте пяти лет ввиду неполноценности окружавшей его символической среды оказавшийся перед лицом неожиданно представшей перед ним загадки пола и существования, под руководством Фрейда и своего отца, ученика его, наращивает вокруг означającego кристалла своей фобии, в мифической форме, все возможные комбинации ограниченного числа означающих.

Эти действия говорят о том, что даже на индивидуальном уровне разрешение невозможного становится доступным путем исчерпания всех возможных форм невозможного, встречающихся при подстановке решения в означающее уравнение. Открывается захватывающая перспектива, в свете которой как на ладони открывается перед нами весь лабиринт истории болезни, из которого до сих пор таскали одни обломки. Становится очевидным также, что природа невроза лежит в

коэктенсивности развития симптома, с одной стороны, и его устранения в процессе лечения, с другой: невроз – будь то фобия, истерия или навязчивое состояние – есть ни что иное, как вопрос, который бытие задает субъекту «оттуда, где он был прежде, чем пришел в мир» (именно этой фразой воспользовался Фрейд, объясняя маленькому Гансу суть Эдипова комплекса).

Бытие, о котором здесь идет речь – это то бытие, что лишь на мгновение появляется в пустоте глагола «быть», и вот о нем-то я и сказал, что оно задает субъекту вопрос. Но что значит «задает вопрос»? Оно не ставит его перед субъектом, ибо прийти на то место, куда он поставлен, субъект не может; оно ставит его на место субъекта; другими словами, на этом месте оно ставит вопрос субъектом, подобно тому, как записывают задачу пером или как человек у Аристотеля думает душой.

Таким образом<sup>22</sup>, Фрейд вводит в свое учение эго (*moi*), определяя его как сумму свойственных ему сопротивлений. Я постарался показать, что эти сопротивления имеют воображаемый характер, напоминая ритуальные уловки, обнаруженные этологией в поведении животных перед битвой или спариванием, и что эти уловки сводятся у человека к нарциссическому отношению, обнаруженному Фрейдом и детально описанному мной в работе, посвященной стадии зеркала. И когда, помещая в это эго синтез всех перцептивных функций, интегрирующих в себе сенсомоторные селекции, Фрейд, казалось бы, соглашается приписать ему традиционную роль поручителя за реальность, реальность эта тем прочнее включается в *приостановку деятельности* эго.

Ибо деятельность эго, характеризующегося в первую очередь теми воображаемыми инерциями, которые сосредоточиваются им против исходящих от бессознательного сообщений, направлена исключительно на то, чтобы компенсировать смещение, которое есть субъект, сопротивлением, присущим дискурсу как таковому.

Вот почему исчерпанность механизмов защиты, которую Феничель, скажем, будучи врачом-практиком, в своих разработках по технике анализа так хорошо дает нам почувствовать (в то время как его теория, сводящая неврозы и психозы к генетическим аномалиям либидинального развития, – это самая настоящая пошлость), оказывается на деле, хотя он об этом не говорит, да и сам не отдает в этом отчета, своего рода изнанкой механизмов бессознательного. Названия стилистических фигур (*figurae sententiarum* Квинтилиана): перифраз, гипербола, эллипс, задержка, предвосхищение, сокращение, отрицание, отступление, ирония; и тропов: катахреза, литота, антономасия, гипотипоза – вот термины, самые подходящие для обозначения этих механизмов. И как можно рассматривать эти фигуры в качестве простого способа выражения, если именно они являются активным началом того дискурса, который мы слышим из уст пациента.

<sup>22</sup> Два следующих параграфа были для большей ясности изложения написаны заново (примечание 1968г.).

Упорно характеризуя природу сопротивления как «эмоциональное постоянство» и представляя ее тем самым чем-то посторонним по отношению к дискурсу, современные психоаналитики обращают против себя одну из важнейших истин, открытых Фрейдом благодаря психоанализу. Ведь, встречая новую истину, мы должны не дать ей место в себе, а занять свое место в ней. Приходится ради этого пошевелиться. Мы не можем просто привыкнуть к ней. Привыкают к реальности. А истину – ее вытесняют.

В сущности, для ученого, мага, и даже для мегеры мужского рода жизненно важно не просто знать, а быть единственным, кто знает. Что даже у людей самых простых, и, более того, больных, может случиться какой-то проблеск – это он еще готов допустить, но чтобы кто-то еще возомнил, будто он знает дело не хуже их – нет, только не это; и он уже кличет на помощь категории первобытного, дологического, архаического и даже магического мышления, которое ближнему своему приписать проще всего. Стоит ли, в самом деле, пыхтеть из-за этих босяков с их секретами, полными, на поверку, лукавства!

Чтобы толковать бессознательное так, как это делал Фрейд, нужно, как и он, совмещать в себе в одном лице ходячую энциклопедию искусств и ремесел с прилежным читателем юмористического журнала *Fliegende Blätter*. Но в ожидающем нас хитросплетении аллюзий, цитат, каламбуров и экивоков нам и от этого будет мало проку. Неужели все наше ремесло состоит в поисках противоядия от словесной мишуры?

Увы, но с этим придется смириться. Бессознательное не имеет ничего общего ни с врожденным, ни с инстинктивным, самое элементарное в нем – это элементы означающего.

Книги о бессознательном, которые можно считать каноническими – «Толкование сновидений», «Психопатология обыденной жизни» и «Остроумие и его отношение к бессознательному» – представляют собою сеть примеров, разбор которых вписывается в те самые формулы соединения и замещения (зачастую, правда, настолько усложненные, что Фрейду приходится пояснять их иногда при помощи наглядных диаграмм), которые характеризуют у нас означающее в выполняемой им функции, именуемой «переносом». Собственно говоря, в работе «Толкование сновидений» термин *Übertragung*, т.е. перенос, давший впоследствии свое имя механизму интерсубъективной связи между аналитиком и пациентом, вводится именно в смысле такой функции.

Подобные диаграммы не просто конституируют каждый из симптомов невроза; они – единственное, что обнимает собой всю тематику его развития и лечения. Наблюдения за проведенными Фрейдом анализами замечательно это демонстрируют.

Вступая, в надежде поставить все точки над *i*, на более конкретную почву, я процитирую статью Фрейда о фетишизме, написанную им в 1927

году. Речь в ней идет о пациенте<sup>23</sup>, которому для сексуального удовлетворения требовалось, чтобы на носу было что-то блестящее (Glanz auf der Nase). Анализ показал, что в раннем детстве, когда мальчик этот говорил на своем родном языке, по-английски, взгляд на нос (что на этом «забытом» языке его детства звучит как a glance at the nose, а не shine on the nose) возник в результате смещения жгучего любопытства к фаллосу матери, т.е. к той важнейшей «нехватке в бытии», где означающее выступает у Фрейда в столь привилегированной роли. Именно бездна, разверзающаяся при мысли, что мысль отзывается в бездне, и стала главной причиной неприятия психоанализа. Именно она, а вовсе не пресловутое преувеличение в человеке роли сексуальности. Это последнее не ново и господствует в художественной литературе уже века. Эволюция психоанализа ухитрилась, проделав своего рода комический фокус, превратить эту сексуальность в моральную инстанцию, в колыбель и место ожидания и влечения. Оседланное душой платоническое животное получает благословение и просвещение и направляется прямой дорогой в рай.

В те времена, когда фрейдовская сексуальность еще не была святой, главной претензией к ней была ее «интеллектуальность». Эта черта роднила ее с теми бесчисленными террористами, чьи заговоры грозили разрушить общества.

И теперь, когда психоаналитики всю стараются построить модель благонамеренного психоанализа, венцом которого является социологическая поэма об «автономном эго», я хорошо знаю и готов сказать тем, кто прислушивается ко мне, как распознать скверного психоаналитика. Очень просто: по тому термину, которым он пользуется для дискредитации всякого практического и теоретического исследования, развивающего фрейдовский опыт в его изначально заданном направлении. Слово это – интеллектуализм, и оно воистину ненавистно всем тем, кто, смертельно боясь испытать себя, пригубив вина истины, плюет на хлеб, который едят люди, хотя и сама слюна его поневоле послужит им, став на этом хлебе закваской.

### *III. Буква, бытие и другой<sup>24</sup>*

Не является ли, таким образом, то, что мыслит на моем месте, другим моим эго (moi)? И не является ли открытие Фрейда подтверждением манихейства на уровне экспериментальной психологии<sup>25</sup>?

На самом деле двух мнений быть не может: то, во что Фрейд посвящает нас, вовсе не является более или менее любопытным случаем раздвоения личности. Даже атмосфера той недавно помянутой нами героической эпохи, когда сексуальность, подобно животным в сказочные времена, умела говорить, не была отравлена чертовщиной, которую

<sup>23</sup> Fetischismus, Gesammelte Werke, XIV, s.311.

<sup>24</sup> La lettre, l'être et l'autre.

<sup>25</sup> Один из моих коллег дошел до этой мысли, задав себе вопрос, не является ли id (Es) позднего Фрейда «дурным эго» (видите, с кем мне приходилось работать! – 1966).

подобные воззрения не преминули бы вызвать к жизни<sup>26</sup>.

Цель, которую ставит перед человеком его открытие, Фрейд, находясь в зените своей научной деятельности, сформулировал в следующей замечательной фразе: *Wo es war, soll Ich werden*. Там, где было оно, должен стать я.

Цель эта есть воссоединение и согласие, я бы сказал – примирение (*Versöhnung*).

Однако, не признав факта, перед которым поставлен каждый человек – факта радикальной эксцентричности его себе самому – мы рискуем ошибиться насчет порядка и путей психоаналитического опосредования, и сделаем его – к чему он в наши дни фактически уже и пришел – орудием компромисса, т.е. того, что категорически противоречит и духу Фрейда, и букве его работ, ибо понятие компромисса без конца упоминается им как корень всех бед, выпадающих на долю психоанализа; можно смело сказать, что любая попытка прибегнуть к компромиссу, будь она имплицитной или эксплицитной, полностью дезориентирует психоаналитическое воздействие, погружая его в кромешную тьму.

С другой стороны, высказав хоть что-то членораздельное по поводу психоаналитического опосредования, негоже заигрывать с современными Тартюфами и без конца твердить о «цельной личности».

Радикальную гетерономию, зияние которой открыл в человеке Фрейд, нельзя попытаться скрыть, не обнаружив при этом собственной глубокой недобросовестности.

Но кто же этот *другой* – тот другой, к которому я привязан более, чем к себе самому, ибо именно он продолжает вызывать движение там, где согласие на идентичность себе самому достигнуто, казалось бы, окончательно.

Его присутствие можно понять, лишь возведя его плановость во вторую степень и поставив его тем самым в позицию посредника в моих отношениях с самим собой в качестве себе подобного.

Сказав в свое время, что бессознательное есть дискурс Другого, с заглавного «Д», я хотел указать на то потустороннее, где признание желания сплетается с желанием признания.

Иными словами, другой, о котором идет здесь речь – это Другой, который и самое ложь мою делает поручителем истины, ее содержащей.

Отсюда напрашивается вывод, что измерение истины возникает с появлением языка.

Уже до этого момента, в чисто психологических отношениях, очень легко выявляемых в наблюдениях за поведением животных, мы должны констатировать наличие субъектов. Но основанием для этого являются не проекционные миражи, призраки которых служат лакомым кусочком

<sup>26</sup> Обратите, однако, внимание на тон, в котором говорили в то время о «бесовских проделках» бессознательного; так, книга Зилберера вышла под названием «*Der Zufall and die Koboldstreiche des Unbewussten*» («Случай и бесовские проделки бессознательного»), которое среди нынешних менеджеров человеческих душ звучит совершенным анахронизмом.

кромсающим их психологам, а явственное присутствие интересубъективности. В устраиваемых животным засадах, ловушках, в уловках, которыми отбившееся от стада животное сбивает хищника со следа, дает о себе знать нечто большее, нежели фанфаронада на току или перед схваткой. И все же в этом нет ничего такого, что функционально выходило бы за пределы хитрости, поставленной на службу потребности; ничего, что указывало бы на чье-то присутствие за тем покровом, где у Природы как целого можно спросить о ее замысле.

Но чтобы сам вопрос этот мог явиться на свет (а мы знаем, что в работе «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд подошел к нему вплотную), нужно, чтобы язык уже был.

Я могу обмануть противника движением, противоположным моему плану сражения, однако движение это оказывает свое обманное действие лишь в той мере, в какой я его действительно делаю, причем предназначая его для своего противника.

Но когда я открываю с ним мирные переговоры, то, что я предлагаю в них, находится в третьем месте, которое не является ни моей речью, ни моим собеседником.

Место это есть не что иное, как место условного означающего, что прекрасно демонстрирует комичная жалоба одного еврея другому: «Почему ты мне говоришь, что идешь в Краков, чтобы я подумал, что ты идешь во Львов, если на самом деле ты идешь в Краков?»

Конечно, тактика, о которой я говорю, может рассматриваться с точки зрения обычной игровой стратегии, где я обманываю противника в соответствии с правилами; но в этом случае успех мой оценивается с учетом возможного предательства, т.е. отношений с Другим как гарантией Добросовестности.

Здесь возникают проблемы совершенно иной природы – проблемы, несводимые к какому бы то ни было «чувству другого», как бы это чувство не называли. Ибо с той поры, как слух о «существовании другого» достиг ушей психоаналитика Мидаса через тонкую перегородку, отделяющую его от тайных собраний феноменологов, по камышам не перестает разноситься новость: «Мидас, царь Мидас – это «другой» пациента. Он сам так и сказал».

В какую же дверь он на самом деле вломился? О каком другом идет речь?

Когда юный Андре Жид, доверенный своей матерью квартирной хозяйке, относившейся к нему как к человеку взрослому и ответственному, бросает этой женщине вызов, открывая на ее глазах ключом, который можно считать отмычкой, поскольку он годится ко всем одинаковым замкам, тот замок, который она считала достойным означающим своих просветительских намерений – какому другому это действие предназначено? Той, которая попытается помешать ему и которой он со смехом ответит: «Много ли толку от Вашего дурацкого замка, если вы хотите, чтобы я Вас слушался?» Но, ничем не выдав себя и дождавшись

вечера, чтобы после подобающего церемонного приветствия отчитать его как мальчишку, она являет ему не только другую с гневным ликом, но и другого Андре Жида, который с тех самых пор и до сего дня, когда он об этом вспоминает, не очень хорошо представляет, что же он тогда собирался сделать; Андре Жида, в котором сомнения в собственном чистосердечии поколебали саму правду его.

Это царство неразберихи, в котором, собственно, и разыгрывается вся человеческая опера-буфф, все-таки достойно, наверное, некоторого внимания, если мы действительно хотим понять, как приходит психоанализ не просто к восстановлению там порядка, а к созданию самих условий возможности его восстановления.

Фрейд видит свою задачу не столько в том, чтобы обратить наши взоры на Kern unseres Wesen, ядро нашего существа – «познать самого себя» нас и до него призывали многие – сколько в том, чтобы пересмотреть пути, ведущие к этой цели.

То, что он предлагает нам понять, не может стать объектом знания; скорее, это (разве не так он говорит?) нечто такое, что составляет самое мое существо и о чем я свидетельствую (как он показал) не только и не столько моей персоной, приобщенной мало-мальски к культуре, сколько моими капризами, извращениями, фобиями и фетишами.

Безумие, тебе не стать больше предметом двусмысленной хвалы, где мудрец устроил для своего страха недоступное логово! И если он все же неплохо там устроился, то исключительно благодаря тому, что главный работник, испокон века роющий галереи и лабиринты его убежища – это разум, тот самый Логос, которому он верно служит.

Как объяснить, что такой мало подходящий для вмешательства в насущные дела своего – да и любого другого – времени эрудит, как Эразм, мог сыграть столь выдающуюся роль в революционном движении Реформации, когда происходившее в каждом человеке было не менее важно, чем происходившее со всеми в целом?

А дело в том, что любой, сколь угодно малый сдвиг в отношении к означаемому (в данном случае то был переворот в методах экзегезы), влияет на «якорную систему» его бытия, меняя тем самым и курс его истории.

Поэтому для всякого, чей взгляд способен различить происшедшие в нашей собственной жизни изменения, очевидно, что фрейдизм, как бы мало ни был он понят, и сколь бы неясны ни оставались его следствия, успел совершить некую неощутимую, но радикальную революцию. Собрать свидетельства бессмысленно<sup>27</sup>: не только гуманитарные

<sup>27</sup> Последнее, что в этом смысле попало мне на глаза, были слова Франсуа Мориака в «Figaro Litteraire», где он приносит извинение в том, что отказывается «поведать нам о своей жизни». Если никто уже не способен совершить это с таким же легким сердцем, как прежде, то дело здесь, по мнению писателя, в том, что уже полвека минуло с тех пор, как путем этим прошел, как бы мы к нему не относились, Фрейд. И, помусолив немного затасканную идейку, будто результатом стало наше порабощение «историей собственного тела», Мориак возвращается к той истине, на которую его писательская совесть не могла, в конце концов, не открыть ему глаза, попытавшись написать свою историю до конца, мы неизбежно обнажали бы и потаенные глубины душ своих ближних.



дисциплины, но и сама судьба человечества, политика, метафизика, литература, искусства, реклама, пропаганда, а, тем самым, без сомнения, и экономика – все испытало на себе его влияние.

Но все это не что иное, как разрозненные следствия той необъятной истины, первопроходцем которой стал для нас Фрейд. Надо сказать, правда, что любая техника, рассматривающая объект исключительно в психологических категориях – как это происходит, в частности, в современном психоанализе, не вернувшись к открытию Фрейда – фактически уходит с проторенного им пути.

О принципиальном отречении от этого открытия согласно свидетельствуют и вульгарность концепций, на которые опирается практика психоанализа, и шитая белыми нитками декорация фрейдистской фразеологии, и заслуженно скандальная известность, на которой он наживается.

Своим открытием Фрейд удалось ввести внутрь круга науки тот рубеж между бытием и объектом, который до тех пор казался границей этого круга.

Но если вы видите, что открытие это действительно является симптомом и предвестием пересмотра всех предполагаемых нынешними познавательными постулатами представлений о ситуации человека в сущем, умоляю – не ограничивайтесь занесением моих слов под рубрику хайдеггеризма, хотя бы и с приставкой нео, ничуть не облагораживающей тот стиль мусорной корзины, с помощью которого мы так ловко научились избавляться от всякой рефлексии, пользуясь отходами ее деятельности как лавкой поношенного платья.

Когда я говорю о Хайдеггере, а точнее – перевожу его, я стараюсь вернуть произнесенному им слову его суверенное значение.

И говоря о букве и бытии, или различая другого и Другого, я делаю это потому, что Фрейд указывает на них как на термины, к которым как раз и относятся те явления сопротивления и переноса, с которыми я меряюсь силами вот уже двадцать лет, с тех пор, как взялся за невозможное – как жалуются все, вслед за его основателем – дело психоанализа. И еще потому, что чувствую себя обязанным помочь другим в этом разобраться.

Я хотел бы не дать зарости плевелами унаследованному ими полю и донести до их сознания, что слова «симптом есть метафора» сами метафорой отнюдь не являются, как не является ею и утверждение, что желание человека есть метонимия. Ведь хотим мы себе в этом сознаться или нет, но симптом – это действительно метафора, и шутки шутками, а желание – это и в самом деле метонимия.

И еще: желая возбудить в вас негодование по поводу того, что после стольких веков религиозного лицемерия и философского бахвальства ничего сколь-нибудь членораздельного о связи метафоры с вопросом о бытии и метонимии с отсутствием бытия сказано не было, мне все-таки никак не обойтись без того, чтобы хоть что-то от объекта этого

негодования – в смысле его причины и его жертвы одновременно – еще существовало и могло дать ответ за него; не обойтись, одним словом, без человека гуманистической формации и безнадежно опротестованного векселя, выписанного им в счет своих добрых намерений.

*14-26 мая 1957г.*

*Перевод А.К.Черноглазова*